

Ирина Евса

Ковчег без трапа

* * *

Если страх, – какого тебе врача?
Это снега тающие пласты,
с крыш на землю валятся, грохоча,
а совсем не то, что подумал ты.

Был сметлив, как рысь, и здоров, как лось.
Нахлебался бед, но не лег под них.
Все, чего боялся, уже сбылось:
ты за каждый вдох получил под дых.

А теперь трясешься, держа в уме,
что молчать – безбожно, кричать – нельзя.
И когда шутихи трещат во тьме,
ты мычишь, к несущей стене ползя,

что пришел обещанный тохтамыш
разнести хибару, где ты живешь,
в щель забившись, как полевая мышь,
или в складку, как платяная вошь.

* * *

Разглядишь (стекло, где опять зима,
потерев дырявою рукавицей),
как лежат на теплой спине холма
двое беглых: отрок с отроковицей.
Нафига им алгебра и физ-ра,
если здесь цикад воспаленный скрежет –
словно сверху спущенная фреза,
дребезжа, разглаженный воздух режет.
Как пугает шорох в борщевике!
Но гадай, зажмурившись, – кто там, кто там:
то ли это ящерка – по щеке,
то ли пчелка чиркнула мимолетом?
Двое беглых – можно сказать, волчат, –
интернатом взятые на поруки.
Их вот-вот каникулы разлучат:
он уедет к бабушке под Прилуки.
А потом покатится, как с холма:
одному – война, а другой – Лубянка...
– Ну ты что? Ты что? Не сходи с ума.
Это просто бабочка-голубянка.

* * *

Молодое светило вылезло на вершок.
Пять утра. Ни морщинки на посветлевшем шелке.
Пляж безлюден. Лишь две синюшные шалашовки
собирают бутылки в пластиковый мешок.
То ли это мотель на трассе, то ли сераль:
бирюзовая вязь, понтовая позолота,
в запотевший цветник распахнутые ворота
и коровьей лепешки спекшаяся спираль.
Справа – старый погост, где розы крадет жулье;
на бетонной ограде красным: «Сдаю жилье»;
снизу – черным – приписка: «Дорого и навеки».

Неопознанный птичик боком торчит на ветке
запыленной софоры и верещит свое.
Слева клуб, от невзгод не спасший свою корму.
Но фасад уцелел, и плиты еще не сперты.
Перед ним постамент, мужик в пиджаке. Кому
этот памятник? Вроде Киров, но буквы стерты.
Куришь, в масляный воздух дым выпуская злой,
пятернею вода нелепо, как бы смывая
этот верхний сиротский праздно-лубочный слой.
И фрагментами проявляется вдруг живая
виноградная волость, каменная страна,
всякий раз при угрозе вражеского секвестра
уплывающая из рук полотном Сильвестра
Щедрина.

Поэт

Евгению Рейну

Ну, брюзглив, брюзглив. И, как ни крути, – не в теме.
Старость мыслит смутно, а изрекает веско.
Подписал не то, не ту похвалил, не с теми
вдруг побил горшки, вломил не тому словесно.
Словно мир не резок, сбились настройки: в луже
мнится небо, тело шага страшится, вдоха.
И ему советчик – всяк проходимец: ну же,
отведи туда, где сухо и нет подвоха.

Но гляди: в стихах по-прежнему держит спину
и лицо, лицо! Не трусит, не бережется.
И слоисто слово, и не подвластен сплину
дух, деталь живая жостовским жаром жжется.
И каким бы ни был, к Богу он точно ближе,
чем любой из тех, кто злей, голодней, моложе.
Хорошо, не спорю: рифмы теперь пожиже.
Ну так он и прежде этим грешил. И что же?

* * *

Пятые сутки баржу болтает в море.
Умный дурак мне пишет, что всем кранты.
На берегу коты застывают в ссоре,
прямоугольно выгнув свои хвосты.

Спорить не стану: шар наш – ковчег без трапа.
Правда, коты считают, что выход есть.
Черный – за Клинтон, рыжий (верняк!) – за Трампа.
Морда в бугристых шрамах и дыбом шерсть.

Дует восток, ломая зонты на пляже,
круг надувной катя по волне ребром.
Фуры вдоль трассы. И никакой продажи
у торгашей, пока не пойдет паром.

Жалко водил, заснувших на жесткой травке.
Мелкого жаль, что, круг упустив, гундит;
жалко народ, что ринулся делать ставки
на кошаков... Мне пофиг, кто победит

там или здесь – под этой летящей криво
гиблой волной, сводящей запал к нулю.
Сидя на парапете с бутылкой пива
и сигаретой Winston, я всех люблю.

* * *

Земную жизнь пройдя до грозной даты,
в чужом краю вися на волоске,
под штормовые мерные раскаты
я задремала в полдень на песке.

И длился сон без фабулы и смысла,
покуда не почуяла спиной,
как чья-то тень надвинулась, нависла,
бесшумно распустилась надо мной.

Небритый, мятый, вероятно, клятый,
но без следов страдания на лице, –
он был нерастаможенной цитатой
с тревожным троеточием в конце.

Алкаш, привыкший клянчить на рюмашку?
Глухонемой торгаш береговой,
что мне сейчас подкинет черепашку,
качающую плоской головой?

Циркач заезжий? Местный авиценна?
В такое пекло – в шляпе и плаще.
А может, вор? Но все, как будто, цело.
И сколько он стоит здесь вообще?

Ну, благо хоть укрыл меня от солнца.
И, словно отвечая на вопрос,
он вдруг сказал: «Доверчивый спасется».
Свернул к воде и тень свою унес.

* * *

Штиль поутру, а к вечеру накат
старательно твои полощет мощи.
– Почем кизил и гамбургский мускат?
Все дорого. Купи чего попроще.

К примеру, беспородный пирожок,
как водится, внутри не пропеченный;
опасный, словно солнечный ожог;
с печеночной начинкою перченой.

Вертя башкой, вместившей сотни книг,
но к точным не способною наукам,
смотри, как вдруг выныривает МиГ
из облака, запаздывая звуком;

как ветхий катерок полупустой,
крутым не соответствуя тарифам,
переползает бухту, словно в той
стране, что стала пугалом и мифом,

где с найденной монеткою во рту,
охотничьему зуду потакая,
ты на волнах болтаешься в порту,
как недоросль, как водоросль какая.

